



## Н. Н. СТРАХОВ

### Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском

Мне досталось счастье быть очень близким к покойному Федору Михайловичу в последние двадцать лет, особенно же в начале этого времени. Я был постоянным и ревностным сотрудником журналов «Время» и «Эпоха»; мы вместе ездили за границей в 1862 г., вместе хоронили в 1864-м редактора этих журналов Михаила Михайловича Достоевского и их главного критика Аполлона Григорьева; потом во время издания «Зари», когда Федор Михайлович жил за границею, он был сотрудником «Зари», с живейшим участием следил за этим журналом, и мы с ним вели деятельную переписку; а когда он вернулся и был один год редактором «Гражданина», я был усердным вкладчиком этого журнала.

В начале этих годов, когда мы жили в нескольких шагах друг от друга и занимались исключительно журнальной работой, мы видались каждый день и даже не раз в день; мы разговаривали без конца и так сговорились, что и до последнего времени ни с кем другим я не мог вести таких живых и разнообразных разговоров, какие у нас неудержимо начинались при каждой встрече.

Мне нельзя не гордиться былым расположением такого человека, и я постоянно чувствовал к нему и не перестану чувствовать глубокую благодарность за одобрение, которым он меня встретил; оно было бесконечно дорого для начинающего и оно постоянно внушало мне радость и бодрость. Но я вовсе не хочу о себе говорить; я хотел только оправдать перед вами свою смелость и объяснить, почему могли пожелать от меня каких-нибудь воспоминаний о дорогом покойнике. Я познакомился с Федором Михайловичем в конце 1859 года. Настроение кружка, в который я тогда вступил, во многом для меня было ново и неожиданно. Это было одно из знаменитых направлений *сороковых* годов, направление, очевидно, сложившееся под влиянием французской литературы. Теперь, издали, совершенно понятно могущество, с которым отразилась на нас некогда духовная жизнь Европы. Между 1830 и 1848 годом, между

июльской и февральской революцией, Европа пережила едва ли не самую счастливую эпоху своей истории. Это было время надежд и верований, предшествующее жестоким разочарованиям. В настоящее время Европа потеряла свои идеалы; ее политическая жизнь, и именно с 1848 года, все больше и больше проникается материализмом; и в нравственном, и в умственном отношении она, несомненно, дичает, несмотря на всякие успехи. Но не то было в счастливую эпоху до 1848-го; Европа крепко верила в себя; ее политические мечтания были светлы и радостны, к ним не примешивалось никакой мысли о крови и огне; литература, поэзия, философия были исполнены жизни и стремились подняться к каким-то недостижимым высотам. Франция, как всегда, занимала первое место по жизненности и определенности своих стремлений. Понятно, почему подобный расцвет европейской жизни должен был сильно подействовать на нас, вечных учеников Европы; впоследствии я часто, однако же, удивлялся, что в 1859 году, когда Европа давно уже вступила в свой нынешний безрадостный период, у нас продолжало жить и действовать и долго увлекало меня самого одно из минувших европейских настроений. Очевидно, мы всегда отстаем от Европы, отстаем потому, что не живем ее жизнью, а берем от нее только мысли, которые часто сохраняем навсегда, оставаясь глухи и немые к новым урокам нашей учительницы.

В том настроении 1859 года, о котором я говорю, я могу указать на две черты, отразившиеся очень ясно на деятельности Достоевского. Во-первых, проповедывалась совершенная гуманность к человеческим слабостям и даже преступлениям. Сожаление к людям, объяснение их дурных поступков из обстоятельств и строя общества, прощение всего того, что не составляло прямо злого нарушения чужой безопасности, словом, безграничная мягкость отношений считалась неизменным правилом. Во-вторых, литературе, художеству давалась определенная задача. Художник должен быть в сущности политиком и публицистом; он обязан следить за развитием общества, схватывать образы новых и новых типов, которые в нем зарождаются, и показывать их корни, объяснять источники того зла и добра, которые они в себе представляют. Проповедь известных общественных идеалов, вмешательство в вопросы минуты — вот что ставилось равным правилом.

Скажу прямо, что оба правила были вредные, и мне довелось потом видеть жестокий вред, испытанный от них некоторыми членами литературных кружков. Это один из самых ярких уроков моей литературной жизни. Правила эти вредны не потому, что они не верны, а потому, что они не полны, не достаточны, что их следует дополнить такими прибавками, которые важнее самих правил. Казалось бы, что может быть лучше гуманности? Или что может быть интереснее такого художественного произведения, в котором ясно и глубоко отразилась

современная минута? Между тем гуманность без руководящих начал ведет часто к распущенности нравов, как это было во времена Цезарей и в XVIII веке. Одного снисхождения к людям, одного сожаления к их страданиям мало; нужно еще знать, за что любить людей, нужно понимать, в чем красота и достоинство души человеческой. Точно так художник только тогда может действительно служить минуте, когда у него крепки на душе начала, годные на веки вечные. А иначе, как это часто и бывало, он будет не учителем, а рабом минуты.

Что касается Достоевского, то при своей удивительной широте ума и сердца он никогда вполне не подчинялся односторонности своего направления. И чем дальше он действовал, т. е. писал, тем яснее у него выступали другие, истинные начала. При конце своей жизни он прямо высказывался за формулу *искусства для искусства*, т. е. за самостоятельность, за свободу художества, и точно так же уже давно все общественные идеалы он подчинил одному вековечному идеалу *Христа*. С Достоевским случилось то же, что совершается вот уже более столетия со всеми нашими крупными писателями; все они начинали с того, что увлекались *чужим*, и все потом возвратились *к своему*. Так было отчасти с Фонвизиным и очень ясно с Карамзиным, Грибоедовым, Пушкиным, Гоголем. Достоевский в этом отношении — новый соблазн нашим западникам, новый и огромный повод к раздражению против русской литературы.

Эти внутренние перевороты, совершающиеся у нас с лучшими душами, часто называют изменой, отступничеством; но едва ли на ком так ясно можно видеть, как на Достоевском, что часто все дело тут только в развитии, в раскрытии задатков, лежавших в натуре человека, а не в перемене одних чужих мыслей на другие — чужие же. С первой своей повести и до конца Достоевский остался одним и тем же; ему нельзя было измениться, потому что уже в этом первом произведении вылилась его душа, сказался весь склад его понимания жизни. От природы этой души зависело то, какие именно влияния на нее действовали. И он нашел вокруг себя влияния, поставившие его на его прекрасный путь, на тот русский и христианский путь, который возбудил такое широкое и глубокое сочувствие. Две главные силы спасли его от всяких односторонностей и дали высокое и чистое направление его таланту: одна сила была русская литература, другая — русский народ, т. е. простой народ. Когда я узнал Достоевского, он был горячим поклонником Пушкина и Гоголя. Он и тогда любил читать те самые стихотворения Пушкина, которые потом читал на пушкинском празднике. Но тогда, в те молодые годы, он читал хуже, читал несколько подавленным голосом; в этот же последний год он достиг такой твердости тона и мастерства выражения, что я изумлялся: часто это было совершенство в своем роде. После торжества, которое он одержал на пушкинском празднике,

я часто думал: это торжество досталось ему по всем правам, потому что, без сомнения, во всей этой толпе писателей и слушателей он *больше всех* любил Пушкина. На Гоголе же он был воспитан, как все поколение, к которому принадлежал, поколение, для которого литература имела в тысячу раз больше значения, чем для нынешних поколений.

Пушкин и Гоголь, эти два великана нашей словесности, замечательным образом отразились уже в первой повести Достоевского, в «Бедных людях». Именно тут прямо и ясно выражено, что автор не вполне доволен Гоголем и что прямым своим руководителем он признает только Пушкина. Тут выведен на сцену чиновник, очень похожий на героя «Шинели» и «Записок сумасшедшего». Знакомая этого чиновника дает ему прочесть «Станционного смотрителя»; тот очень хвалит повесть и очень жалеет о бедном смотрителе. Потом та же знакомая посылает Макару Девушкину (так зовут героя «Бедных людей») «Шинель» Гоголя; Девушкин обижается, узнав себя в таком безжалостном изображении, упрекает свою добрейшую знакомую, горюет, напивается пьян и подвергается всяким бедам и оскорблениям. Таким образом, беспощадная ирония Гоголя осуждена как слишком жестокое, сухое отношение к людям. Еще более она осуждается тем, как изображен сам Девушкин. Между тем как у Гоголя выставлена только одна ужасающая пустота и пошлость, Макар Девушкин, этот новый Поприцин, обладает сокровищами нежности, самоотвержения, лучших сердечных чувств, о красоте которых он сам и не догадывается. Между тем как никто в мире не пожелал бы быть Акакием Акакиевичем или Поприциным, всякий читатель должен с завистью смотреть на несчастного Макара Девушкина, всякий должен сознаться, что ему далеко до такой душевной красоты.

Таков был первый шаг Достоевского, сделанный еще в 1846 г. Это была смелая и решительная *поправка* Гоголя, существенный, глубокий поворот в нашей литературе. Дело в том, что поправка Гоголя была необходима\*, что ее неминуемо должна была сделать наша литература и делает ее до сих пор, что в известном смысле и всех других наших крупных писателей: Островского, Л. Н. Толстого — можно считать поправкою Гоголя, можно в этом видеть главную их оригинальность. Достоевский начал первый.

Да, недаром тосковал Гоголь, недаром усиливался создать что-то новое. То напряженно-чуткое настроение, в котором Гоголю так ясно открывалась пошлость существующего, было слишком напряжено.

---

\* Примечание, прибавленное в «Руси»: «Не *поправка*, а *дополнение*, движение вперед по открытому, намеченному Гоголем пути. Мы предоставляем себе высказать когда-нибудь свое слово о Гоголе (Ред.)».

К сожалению, до сих пор И. С. Аксаков не успел высказать свои мысли о столь любимом им писателе. Мы хотели пока обратить лишь внимание читателей на то, что здесь именно заключается существенный вопрос, важнейший пункт дела. — Н. С.

Непобедимое отвращение поднималось в нем при виде безобразия и бессмыслия русской жизни, этой жизни, в которой все хорошее стыдливо и упорно прячется в глубину, тогда как пошлое и грязное щеголяет на виду и всем мечется в глаза. Конечно, Гоголь лил те *тайные слезы*, о которых он говорит<sup>1</sup>; но это были слезы сожаления восторженного идеалиста, а не слезы любви. И чем больше мы станем вникать в смысл всей послегоголевской литературы, которую начинает собою Достоевский, тем нам яснее будет и коренной недостаток Гоголя и вся настоящая потребность, которую чувствовали наши художественные писатели — избежать односторонности и пойти по новому пути.

Пусть простят мне эти указания на развитие нашей литературы. Художественная деятельность была для покойного главным, первым делом в жизни, и если мы хотим почтить его память, соблюсти его завет, то прежде всего больше всего нам следует вникать в глубину и дух его художественной деятельности и беречься, как бы не истолковать этой деятельности в неправильном смысле. Пример того, что случилось с Гоголем, навеки поучителен. Настроения, господствующие в нашем обществе, предубеждения, которыми оно постоянно заражено, отсутствие твердых начал, которые сдерживали бы шатание мыслей и душ, все это производит то, что самое чистое и простое явление у нас подвергается самым странным перетолкованиям. Нет никакого сомнения, что и Достоевский будет перетолкован; на нем станут строить такие выводы и его произведениями будут питать такие чувства, которые глубоко противоречат его истинным мыслям и чувствам. Умы нашей интеллигенции слишком привыкли ходить по известным колеям и будут на них сбиваться, несмотря на сильнейшие потрясения. Есть два чувства, привычные для наших образованных людей и обыкновенно питающие их душевную жизнь сверх житейских интересов: одно — чувство негодования, так называемого благородного негодования, на всякое зло и безобразие, и другое — чувство сожаления к России, сострадательное созерцание ее скудости и жалкой участи. Оба чувства — очень хорошие, но, к несчастью, отделенные слишком тонкою чертою от дурных чувств: негодование граничит с озлоблением, а сожаление с высокомерием, так что часто люди, по-видимому, постоянно предающиеся самому благородному настроению, в сущности даже сами того не замечая, питают лишь свои дурные свойства и только из них почерпают все свое видимое благородство. О Достоевском могу твердо свидетельствовать, что он был безупречен в этом отношении, что никогда он не изменял уважению к великой родине и никогда негодование у него не могло перейти в озлобление. В этом он истинный образец для нас. Он ли не потерпел от существовавших порядков? Но из страданий, которые он перенес, он не вынес ни малейшего озлобления и не выводил даже права на тот особый авторитет, который у нас общество приписывает

пострадавшим и который часто присвоивают себе пострадавшие. Он во все не хотел быть в чьих-нибудь глазах страдальцем и, бывало, сердился, когда с ним начинали речь в таком смысле. Обыкновенный тон его был веселый и бодрый, тот неподражаемо прекрасный тон, который он часто брал потом в своем «Дневнике», когда рассуждал о самых тяжелых и больных вопросах. В то время, около 1860 года, были в ходу, как и теперь, литературные чтения, и Федор Михайлович иногда читал на них отрывки из «Мертвого дома», только что написанного. Однажды по поводу такого чтения он сказал мне: «Знаете ли, мне всегда немножко неприятно читать из «Мертвого дома», выходит так, как будто я все жалуясь публике, все жалуясь, — это не хорошо».

Вообще в нем было поразительно развитие личности, необыкновенная душевная энергия. Мне довелось видеть его в самые тяжелые минуты после запрещения журнала, после смерти брата, в жестоких затруднениях от долгов — он никогда не падал духом до конца, и, мне кажется, нельзя представить себе обстоятельств, которые могли бы подавить его. Это было особенно изумительно при его страшной впечатлительности, причем он обыкновенно не сдерживался, а предавался вполне своим волнениям. Как будто одно другому не только не мешало, а даже способствовало. Прямо из его собственной души говорит один из его героев, Дмитрий Карамазов: «<...> столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь — но есмь!» («Братья Карамазовы», т. 2, стр. 411).

В своей литературной деятельности он также проявил живучесть и энергию, как никто другой. У него были периоды ослабления деятельности, как будто упадка; но потом он вдруг подымался выше прежнего и показывался с новой стороны. Таких подъемов можно насчитать четыре: первый — «Бедные люди», второй — «Мертвый дом», третий — «Преступление и наказание», четвертый — «Дневник писателя». Подъемы эти были поразительны для самых близких к нему людей: в нем был неистощимый запас сил, что-то загадочное, не подчинявшееся обыкновенной постепенности развития.

Новые образы, новые планы романов, новые задачи являлись у него беспрестанно, осаждали его. Это даже мешало ему работать, и иные из его романов составляют целые клубки переплетшихся между собою тем. Конечно, он написал только десятую долю тех романов, которые он уже обдумал, уже носил иногда в себе многие годы; некоторые он рассказывал подробно и с большим увлечением; а таким темам, которых он не успевал разработать, у него конца не было.

И вот он неутомимо изображает те лица и картины, которые составили его славу. Он рисует чудесные идиллии среди величайшей грязи; благо-

родство, нежность, великодушие в пошлейшей обстановке; он не делает своих лиц, как Виктор Гюго, театральными героями, не заставляет их совершать чудес и подвигов; он твердо держится строгого реализма, завещанного Гоголем, но в величайшем безобразии умеет видеть человеческие черты. Он идет далее: он выводит пред нами вереницу преступников, полупомешанных, идиотов, самоубийц, больных физически и еще более нравственно, и изображает их душевную жизнь с удивительной точностью и объективностью, но он, как Диккенс, признает за всеми ими человеческие права; он не ставит их в положение нелюдей, таких существ, которые должны быть чужды нормальному человеческому обществу: у него идиот выходит лучше самых здравомыслящих людей. На этом пути Достоевский шел очень далеко: страшно было видеть (по крайней мере, я иногда не мог воздержаться от страха), как он все глубже и глубже спускается в душевные бездны, в ужасные бездны нравственного и физического растрепания (это его собственное слово). Но он выходил из них невредимо, то есть не утрачивая мерил добра и зла, красоты и безобразия.

О достоинстве этих изображений не может быть спора. Несмотря на неправильную и неясную постройку иных романов (не в целом, которое весьма было стройно и ясно, а в частях), несмотря на полуфантастическую постановку сцен и отношений между действующими лицами, из каждой картины Достоевского была такая правда душевная, такая глубина душевной правды, что невозможно было не испытывать живейшего впечатления. Бред идиота и сумасшедшего, муки преступника и самоубийцы, лихорадочные сны, галлюцинации — все было понятно и ясно. Читатель с жадностью следил за мыслями и чувствами лиц, о которых никогда не имел понятия, и с изумлением видел, как эти мысли и чувства отражаются в его собственной душе.

Итак, страдание, отчаяние, преступление, болезнь — вот постоянные темы Достоевского. А в чем же главное поучение, какой вывод? Неужели опять — уныние и злоба? О нет, это ясно всем до очевидности. Над гробом покойного, на этом великом торжестве его похорон, великом по своей искренности, непрерывно раздавались слова, сами собою приходившие на ум, при воспоминании о его деятельности. Эти слова: *прощение, любовь*. Думаю, что это высшая честь из всех, возданных покойнику.

Идеал христианина — вот та господствующая мысль, которую он так смело и горячо проповедывал в своем «Дневнике», которую прямо выразил в своем последнем романе и которая особенно ясно установилась в его душе, кажется, во время его четырехлетнего житья за границей (1868–1871 годы). В 1869 г. он мне писал из Флоренции: «<...> сущность русского призвания <...> состоит в разоблачении перед миром русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается

в нашем родном православии. По-моему, в этом вся сущность нашего <...> будущего цивилизаторства и воскрешения хотя бы всей Европы и вся сущность нашего могучего будущего бытия. Но в одном слове не выскажешься, и я напрасно даже заговорил» (Письмо 1869, 30/ 18 марта).

В идеале Христа он нашел, таким образом, оправдание своей всегдашней любви к простому русскому народу и нашел высший смысл своего горячего патриотизма. Любовь к простому народу, к *почве*, как говорил Достоевский, есть знаменательное явление в нашей литературе вообще; сознание духовной красоты и духовного здоровья, которые народ сохранил, а мы утратили, давно у нас зародилось и возрастает с каждым днем. Достоевский по всему складу души, по своей способности симпатизировать внутренней красоте был всегда, как Пушкин, поклонником простого народа. «Записки из Мертвого дома», в которых с таким сочувствием нарисованы народные типы, написаны раньше, чем он мог назвать себя славянофилом, как называл в последние годы. А еще раньше, до ссылки, написана повесть «Хозяйка», так рассердившая наших западников.

Такому человеку, конечно, должен был открыться и главный нерв народной жизни, высокий идеал святости, подчиняющий себе весь нравственный склад народа, дающий этому народу такую несокрушимую жизненность и крепость. Вот тот последний и высший авторитет, которому подчинился Достоевский, вот самое важное из влияний, имевших на него действие, вот окончательная дорога, к которой пришло это развитие. Когда он вернулся из-за границы, где он жил почти уединенно со своею семьею, без развлечений и дел (хотя в больших затруднениях и трудах), он принес с собою то настроение глубокого умиления, в которое привело его долгое погружение в этот строй мыслей. Были минуты, когда он и выражением лица и речью походил на кроткого и ясного отшельника. Да, он был христианином, он ясно знал тот идеал, к которому нужно стремиться прежде всего другого.

Это тот путь, по которому идут простые души и к которому, как мы видим, приходят и самые одаренные души, иногда долго блуждавшие по другим путям. Все знают уже, что идеал Христа стал высшим идеалом и для другого нашего художника, гр. Л. Н. Толстого. Переходы были те же, как у Достоевского. Л. Н. Толстой всею своею натурою, всею симпатиею своего великого художественного чувства был направлен и устремлен к народу, и долгое и любовное созерцание народа открыло ему идеал, которым живет народ. Это совпадение с Достоевским было поразительно. Они не были знакомы друг с другом, но в последнее время оба все собирались познакомиться. Позволю себе привести несколько строк из письма Л. Н. Толстого, писанного ко мне в конце сентября прошлого года. «Я не понимаю, — писал он, — жизни в Москве тех людей, которые сами не понимают ее. Но жизнь большинства, — мужиков, странников



и еще кое-кого, понимающих свою жизнь, я понимаю и ужасно люблю. Я продолжаю работать над тем же, и, кажется, не бесполезно. На днях нездоровилось, и я читал “Мертвый дом”. Я много забыл, перечитал и не знаю лучше книги из всей новой литературы, включая Пушкина. Не тон, а точка зрения удивительна, — искренняя, естественная и христианская. Хорошая назидательная книга. Я наслаждался вчера целый день, как давно не наслаждался. Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю» (Письмо 1880 года, 26 сентября).

Я принес это письмо Федору Михайловичу, и это была одна из прекрасных минут и для него, и для меня, как свидетеля.

Итак, в любви к народу, переходящей в преданность высшему народному идеалу, идеалу Христа, завершается деятельность двух наших лучших художников слова.

Отсюда нам всего яснее открывается и смысл произведений Достоевского. Кроме общей симпатии ко всем «униженным и оскорбленным», у него, особенно во второй половине деятельности, является определенная задача — изобразить больные стороны нашего общества, оторванного от народа. Он выводит нам два ряда типов: «нигилистов», явившихся в последние десятки лет, и предшествовавших им «людей сороковых годов». Так и в последнем романе драма идет между отцом Карамазовым, принадлежащим к сороковым годам, и между его детьми-нигилистами, Иваном и Смердяковым. И вот с бесподобною глубиною и тонкостью Достоевский рисует нам извращение этих душ, искажение их нашим так называемым просвещением. И здесь, как и в других романах, наибольшая доля сочувствия принадлежит молодому поколению, именно Ивану, в котором изображена серьезная, искренняя преданность своим убеждениям, хотя и превратным, увлечение, доходящее до поэзии и грандиозности. Нельзя не заметить, что меньше всего Достоевский щадил людей сороковых годов; их он как будто уже не прощал и выставлял или резко комическими, как Степан Трофимович Верховенский в «Бесах», или резко отвратительными, как живьем схваченная фигура Федора Павловича Карамазова. К нигилистам же он отнесся, можно сказать, с отеческою скорбью, с отеческим состраданием. Молодое поколение мало-помалу поняло, с каким сердцем он к нему обращался, и отвечало заявлениями своей любви.

Но тут яснее, чем в других романах, Достоевский поставил и положительную сторону дела. Не вся же Россия состоит из прогнивших западников, как Федор Павлович, и из безмерно дерзких умом нигилистов, как его сын Иван. Отцеубийство совершено несчастным Смердяковым, грех которого должен равно пасть и на его отца, и на брата Ивана, сбившего с пути жалкое создание. Но кроме их есть еще Дмитрий Карамазов, ординарный русский человек, грубый богатырь, в котором много зла, но много и добра, и который отвечает собою за чужие вины. Есть

еще и задатки будущего — благочестивый и чистый сердцем Алеша. Да и Иван, любимец автора, Иван, который в душе, в мысли, убил отца, как нигилисты в мысли совершают покушение на убийство нашего царства. Иван поражен своею совестью, как громом, и, если он выздоровеет, он опомнится и станет другим человеком. Вот где нам следует искать поучения. Будем сильны, и бодры, и несокрушимы никакой бедой, как Дмитрий Карамазов. При всех наших безобразиях, при всех претерпеваемых несправедливостях будем чисты от ненависти и преступления. Научимся, если придется, терпеть за чужие вины и прощать, потому что он правду говорит: «Все за всех виноваты».

Это черты настоящего русского духа, того духа, которым живет и растет и навеки могуча Русская земля. Будем любить Россию тою любовью, которая дышит в «Братьях Карамазовых», научимся смотреть на нее не с униженностью, как ее рабы, и не с высокомерием, как ее господа и учителя, а с тем чувством, с каким сыновья смотрят на мать. Постараемся «возродиться», как замышляет Дмитрий Карамазов, воспитать в себе «нового» человека, чтобы иметь право на такие сыновние отношения, чтобы стал и для нас идеалом идеал Христа, наполняющий собою душу нашей великой родины. Так, мне думается, завещал нам Федор Михайлович Достоевский.

---

Приведу еще несколько строк из письма, полученного мною на днях от Л. Н. Толстого. Его здесь нет, но пусть и он участвует в наших поминках.

«Как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском! Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек. И никогда мне в голову не приходило мериться с ним, никогда. Все, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость. Я его так и считал своим другом и иначе не думал, как то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг читаю — умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу. На днях, до его смерти, я прочел “Униженные и оскорбленные” и умилялся»<sup>2</sup>.

